

18+

СЕРТЕН СЛОБОДЖИКОВ

ОТЧЕ



DZR
2016

Сергей Слободчиков

Отче

«Издательские решения»

Слободчиков С.

Отче / С. Слободчиков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-935490-7

**НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД
ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ
УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ....**

Эта книга являет собой откровенные записки из моей личной жизни, которые подобно мозаике собираются в целостную картину. Я создал свой автопортрет без прикрас, используя серые тона повседневности и быта, в котором я томился, произрастая на Дальнем Востоке. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-935490-7

© Слободчиков С.
© Издательские решения

Содержание

ОТ АВТОРА	6
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Отче

Сергей Слободчиков

© Сергей Слободчиков, 2018

ISBN 978-5-4493-5490-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

РОМАН

Dizzaster

Санкт-Петербург

2016

Редактор: Кочегаров Игорь Олегович

Оформление обложки: М. Драу

Спонсоры проекта: www.dizzaster.ru

www.muzicona.com www.ottodix.ru

Слободчиков С.

Отче: Роман. – Санкт-Петербург, Dizzaster, 2016. – 224 с.

Роман состоит из автобиографических зарисовок автора. Произведение подводит некую черту под 35-летним жизненным опытом человека, довольно известного в творческой среде, и позволяет заглянуть в его душу через призму его судьбы.

© *Сергей Слободчиков, 2016*

ISBN © Dizzaster, 2016

Однажды сяду я тихо, возьмусь руками за виски, уставлюсь в одну точку и, не открывая рта, не издав ни единого звука, закричу...

Я посвящаю эту книгу своим любимым:

Апреликовой Веронике и Татьяне Свиной

ОТ АВТОРА

Данная книга написана по мотивам моей непростой жизни и затрагивает мое детство, отрочество и юношество. Долгое время я делал зарисовки и наброски, собирал по крупицам свое прошлое, анализировал его, воспевал увиденное. Потому сюда вошли не только неопубликованные рассказы, но и те, что издавались ранее; хотя они написаны от третьего лица, суть от этого не меняется. Хочу заметить, что моя жизнь после отрочества не стала менее простой, ведь я успел увидеть полмира. Нет ни одного областного города в России, где не было меня. Жизнь моя всегда была полна приключений и интриг, и только одно оставалось неизменным. Но в мои планы не входило писать о той части жизни, где я отправился, подобно дикому зверю, выкинутому и отвергнутому родной стаей, исследовать вселенную, познавая мир. Этим воспоминаниям еще следует отлежаться в моей голове, дойти до точки забвения, и тогда я напишу новую книгу.

Однажды ночью я вдруг проснулся и понял, что какимто чудом вспомнил все домашние номера телефонов людей, которых знал двадцать лет назад. Вместе с тем я не помню их лиц и не могу описать точно, как они выглядели. Я помню все числа, количество шагов до школы, количество ступенек в собственном доме, даты рождения каждого человека, которого встречал, даже мимолетного. Но я не помню дома, не помню школы, не помню своего класса, не помню ни одной улыбки, не помню даже лицо своей матери. Хотя бы исходя из этой особенности моей памяти, не стоит буквально воспринимать эту книгу. Возможно, все было не так, как я описываю. Что-то является художественным вымыслом, неким приемом, чтобы соединить пазл моей памяти единой сюжетной линией. Вместе с тем я не ставлю себе целью отыскать правду в событиях, я ищу правду в ощущениях, в своих эмоциях, я – это восприятие, но никак не стенографист. Я могу путать события, но я не запутался в своих ощущениях, воспринимая мир сквозь сильнейшие, почти ненормальные эмоции, которые я с трудом могу сдерживать. Поэтому не удивляйтесь, что я отвожу полстраницы под описание переживаний и всего два предложения под сюжет. Читайте книгу так, как будто вы читаете стихи, а не прозу. Не надо доверять буквам, надо довериться своим ощущениям. В конечном итоге, я многое мог перепутать.

Например, я не уверен, что в слесарной мастерской употребляли именно героин, скорее всего, это были опиаты в той или иной своей разновидности. Хотя героиновый поток захлестнул молодое государство, он стоил немалых денег, и не каждый мог себе позволить подобное удовольствие. Героин в то время был наркотиком для богатых. С другой стороны, достаточно было иметь криминальные связи, чтобы даже бродяга мог достать его. Поэтому я оставил название «Героин».

Или, например, я не уверен, что в начале 90-х была такая профессия, как менеджер. Еще я не уверен, что точно описал коренных жителей дальневосточной тайги, тут даже я сам не могу понять, где моя фантазия, а где реальность, поскольку мне было очень мало лет. Тяжело вспомнить свое окружение, когда ты видишь только ноги людей и лицо матери.

Но кое-какие ощущения совершенно правдивы. Например, я действительно верю, что помню свое появление на свет и холод весов, на которых меня взвешивали. Именно этот холод я и запомнил, холод и свое удивление, что огромный неизведанный мир, в который я пришел, так холоден. Через это первое ощущение холода я ощутил первую печаль. Это невероятно интенсивное ощущение метафизики мира пришло вместе со мной и живет во мне по сей день. Конечно, в тот момент я не знал, что есть слово «печаль», но по ощущениям оно вполне подходит состоянию, с которым я пришел сюда. Те, кто думают, что человек мыслит словами, ошибаются: человек глубже любых слов. Ощущая эту глубину, мы и выдумываем слова, чтобы описать ее.

Не стоит удивляться, что я не создал ни одного рассказа, посвященного личной жизни. Я ничего не хотел скрыть от читателя, и тут нет никакой интриги. Моя книга любви пребывает в будущем, для нее еще не пришло время. А пока что вся моя личная жизнь – это небольшой абзац, который можно оставить в предисловии.

Мой первый, самый сладкий, самый нежный поцелуй, самый неумелый, самый смущенный, и в то же время самый глубокий по переживаниям случился в возрасте 22-х лет на автобусной остановке с девчонкой, которую я с десятков лет не мог выкинуть из головы. По истечении этого срока я встретил ее в далеком и загадочном Таиланде, когда путешествовал с другом, познавая новую страну. Она обняла меня, и я снова пережил эту нежную, сладкую глубину и смущение, понимая, как я страдал без ее теплых рук. Все это время она ничего не знала о моих переживаниях. А если бы и знала, это ничего не изменило бы. Потому я писал о любви божественной, о той любви, что пребывает даже с наркоманом, умирающим в полном одиночестве в

темном подвале в луже грязи. О той любви, которую по знают, когда отчаиваются, теряя все, встречаясь в пустоте с самим собой. Мне проще писать о вечном, чем о личном.

Проще рассуждать о Боге, чем о женщине.

Если кому-то моя книга покажется грустной, депрессивной, значит, вы не поняли, о чем она, неправильно ее восприняли, либо я неумело ее написал. Книга печальная, но печаль очищает, как очищают человека искренние слезы. Печаль – не грех, грех – уныние. В этом отношении мне хочется верить, что мои слова прольют свет на читателя. Да, я прячусь за сопереживание того человека, что прочитает ее, да, я ощущаю себя слабым, но мне нечего стыдиться, потому что жизнь любого из нас – это открытая книга печали. Все мы проливали слезы. И оттого, что один человек завел откровенный разговор о слезах, а другой о них молчит, ничего не изменится. Оба одинаково плакали, и оба знают об этом. Я не сказал ничего нового. Я лишь озвучил то, что знают все.

Я не раз задавался вопросом о конечной цели моего творчества. Я долго не мог понять, что ношу в себе, не мог определить свое место на земле, лишь совсем недавно пришло осознание, что все мое творчество – это одна большая книга сострадания и сопереживания. Надеюсь, эта мысль пронесется со мной через всю жизнь, и еще не раз я буду сострадать себе, вам, всему миру. Такая творческая цель не означает, что я стал светлее и добрее, но это значит, что я хочу видеть таким мир. Я по-прежнему могу раздражаться и грубо шутить, я многого не понимаю, я не стал мудрее, не стал сильнее, но я осознал, чего я хочу. Наверное, по этой причине даже самые грустные мои истории в конечном итоге создаются из благих намерений. Пока кто-то думает, что человек хуже всякого животного, я говорю, что даже на самом дне человек остается человеком. Пока кто-то думает, что любви не существует, я говорю, что все есть любовь. Потому не стоит удивляться, что я воспеваю порой темные человеческие стороны и темных людей: именно через них я могу показать, что человек велик. В каждом грязном бродяге я вижу Бога, в каждом горящем дереве я вижу Бога, в каждой страдающей душе я вижу Бога. Возможно, что последний грязный наркоман, укравший у старушки кошелек, намного ближе к Богу, чем добрейший человек, который подает милостыню. В каждом шизофренике, в каждом сумасшедшем я вижу горящее дерево. В каждой слезе я вижу океан. Моих грязных бродяг следует принять как часть реальности и вместе со мной сострадать человеку. Ведь для каждого из нас уготовлен свой собственный ужас, и неважно, живете вы в радости и сытости или прозябаете во тьме. Ужас приходит ко всем, ни одно живое существо не осмелится отвернуться от своей судьбы. В одинаковой мере плачет дерево и плачет человек, но в разной мере мы это слышим.

Как мать берет свое дитя на руки, в любви и нежности оборачивая самое дорогое в теплые объятия, так я прячу свои мысли в творчество в надежде, что из этой малой любви прорастет

любовь большая, которой хватит на всех. И в этом отношении мне не обязательно уметь писать, это придет со временем. Но я хочу сказать, и я говорю.

Я сострадаю.

Я родился двадцать шестого декабря 1980 года в лютый мороз, рано утром, в небольшом селе Ульчского района. В этом году в СССР состоялась Олимпиада. Солнце было на пике своей активности. Ульчи, они же гиляки – северная дальневосточная народность, которая издревле жила тут, промышляя охотой и рыболовством. На многих камнях, в таинственных пещерах, в сырых гротах еще хранятся их древние послания потомкам, их странные рисунки животных и символы древнего мира. Здесь вьюга напевает свои сказки, в сугробах спят медведи, а сосны, покрытые мхом, достают до небес.

Я пришел в этот мир сгустком жира, наделенным сознанием, чтобы молодая девочка, которая только что сделала маникюр, уронила меня и сломала мне грудную клетку. Скользящий сгусток не удержался в ее руках, и она проткнула мне правую височную долю алым, как пролитая кровь, ногтем. Так я заплакал в первый раз. И, хотя я верю, что все мы рождаемся для радости, я вынужден констатировать факт: мы рождаемся, чтобы первым делом пролить слезы и кровь, тем самым принося в мир страдания, а к радости еще надо прийти. Страдать умеют все, но радоваться мы учимся. Из тьмы материнского чрева мы тянемся к свету, за познанием приходя в этот мир, чтобы учиться радоваться. Радоваться сквозь слезы. Тонуть в слезах

радости. Плакать от радости. Страдать ради того, чтобы постигнуть радость.

Каким-то чудом я запомнил, как меня взвешивали на холодных весах. Это холодное прикосновение железа я запомнил на всю жизнь, это мое первое воспоминание о реальном мире после моего рождения, мое первое откровение. После теплой материнской утробы я узнал, что существует холод. Но обратного пути не было. Я пришел в этот мир.

Впоследствии матушка рассказала, что я редко плакал, часто молчал, и, даже когда хотел есть, предпочитал с улыбкой на лице тянуть руки к полной груди, в то время как остальные ее дети, мои сестры, непременно плакали и жадно требовали то, что им положено природой. Я был тихоней с рождения. В будущем, всего через несколько лет, от воспитательниц в яслях на меня поступила первая жалоба. Я был чересчур молчаливый. На меня жаловались матушке, что это ненормально, что я чем-то болею, что меня надо лечить и мне не место среди здоровых детей. Меня пытались вытащить из моей мистической тишины, а я упорно прятался туда, словно тишина – это лоно матери, где я живу в своем идеальном мире в ожидании великого перехода. Я раздражал их своим молчанием, но весь мир раздражал меня своим шумом. Взрослея, я сбегал от людей в мир тишины, чаще всего находя его в туалетах, бараках, полях и лесах, бесконечно ища огромные сосны и мох, чтобы ощутить свою связь с землей. Мигрировав однажды, я бесконечно тосковал по соснам севера, по той тишине, которая царила в тайге и которой не найти в большом городе.

К моему счастью, мать называла больными воспитательниц, а меня всегда защищала, за что часто попадала в немилость к местному руководству.

Всего через пару недель после рождения у меня началась пневмония. За мной пришла смерть, или, как говорили местные, злой дух. В глухом селе, где зимой во внешний мир можно было попасть лишь на самолете, что взлетал с военного аэродрома, я посмел смертельно заболеть. Скорее всего, пневмония была следствием сломанных ребер, которые зашли под сердце и легкое, или, возможно, всему виной была просто суровая зима. Так или иначе, смерть упорно боролась за меня, желая забрать себе, но любовь матушки не давала ей это сделать. Будто там, на небесах, кто-то решал, стоит мне жить или нет. Наверное, я остался тут не по собственному желанию, они просто вняли женским мольбам и их растрогали материнские слезы, либо же гиляки, умевшие разговаривать с духами, убедили их в моей пригодности. Но был и шанс остаться в земле. Еще совсем недавно покойников сжигали на костре, облачая в белые одежды.

Я бы предпочел смерть по местным обычаям, чтобы дымом взлететь над тайгой, над ее бесконечными сопками, над ее нежными реками, над дымящими трубами поселений. Чтобы плакать от восторга при виде той невероятной красоты, вместе с тем осознавая, что тайга полна ежедневных драм. Говорят, покойник долго бродит вокруг своего дома, но я бы летал по тайге и, лишь насладившись ее красотой, я бы нашел себе новую пару влюбленных, чтобы воплотить в жизнь идею.

Врачи хотели поставить мне капельницу, но мать начала драку, бросилась с кулаками на главного врача и забрала меня из больницы домой. Престарелый, сморщенный, как обезьянка, гиляк дал ей совет: запеленать меня в теплое полотенце, обмазанное медом, что и было сделано в тот же час. А над люлькой повесили амулет, отгоняющий злых духов.

Случилось чудо – я вернулся с того света на этот и продолжил жить для какой-то неведомой мне цели. Я – морская вода, которая каким-то образом обернулась в липид, словно в сосуд, и вышла на берег исследовать мир. Я верю, что жизнь зародилась в океане, точнее, океан и есть жизнь, просто он научился принимать разные формы, чтобы передвигаться по земле и воздуху. Некая черта между снами до моего рождения и после была преодолена. Меня ждало будущее. Я еще не ведал, чем я буду заниматься, кто будет любить меня, а кого буду любить я, буду я счастлив или буду страдать, и самое главное – когда я уйду обратно в океан к прародителю. Но я остался.

Я помню, как, будучи карапузом, ползал на четвереньках по дому, а мимо меня ходили те самые гиляки в роскошных разноцветных тапочках, украшенных северным ветвистым, как изморозь на окне, узором, цветной фольгой и мехом мелких животных. Лица их я помню плохо, потому как редко поднимал голову вверх. Пока я был ребенком, я исследовал мир ног и всего, что стоит на полу либо бегают по нему. Лишь повзрослев, я разглядел их круглые, добрые лица с миндалевидным разрезом черных глаз. Волосы, такие же черные, чаще всего бывали заплетены в косы – что у женщин, что у мужчин – а их одежда вышивалась цветным национальным орнаментом. Казалось, что они покупали в сельском магазине рубашку и тут же обшивали ее узорами и цветной фольгой, чтобы отличаться от нас, европейцев. Но на самом деле в диковинку тут были мы, а не они. И гиляки, понимая наш интерес к их культуре, продавали нам свои вышивки и одежду, чаще всего сшитую из кожи, реже купленную и украшенную.

Они рассказывали сказки о тайге, и я жалею, что ничего не запомнил. Я еще наберусь сил, вернусь в тайгу, найду последних гиляков, выслушаю их и все запишу. Я верю, что это однажды случится, а пока вам надо знать только то, что это был край сказочный сам по себе. Чем больше я гулял по тайге, собирая морошку и голубику, тем больше в этом убеждался. Мрачные болота сменялись зеленым ковром мха, в котором утопают ноги по колено. Мох был мягким и теплым, как перина; сквозь него прорастали мелкие кусты и сосны. Сосны тянулись в небо, к солнцу. Казалось, они конкурируют за солнечную энергию друг с другом, но на самом деле они тянулись к своей родине. Ведь солнце – родина всего живого на земле, солнце – родина океана.

Исходя из этого, все мы – просто звездная пыль.

Тут жили старые мудрые вороны, огромные бурые медведи, дальневосточные тигры, леопарды и даже странные маленькие олени с выступающими клыками, которых мы звали кабаргой. Рядом жил своей жизнью великий Амур с его притоками и тысячей мелких речушек, по которому шла удивительная рыба – кета. Удивительна она была тем, что одна рыбина не вмещалась в бочку, в то же время ее ловили в обычной реке. Я всю молодость ел эту рыбу, кроме нее у нас было полно красной икры, корюшки, миноги, мяса и всего того, что дает тайга. Не было у нас только хлеба и, пожалуй, фруктов. Бананы я видел только на Новый год, а мороженое в первый раз попробовал в пубертате, когда мы переехали в большой город. Но я и не нуждался в этом. Мне хватало вкусных вещей и чудес без всякого города.

Мы жили в большом деревянном доме, держали сарай со свиньями и курами, у нас был свой огород. Я безумно любил эти деревянные черные стены, эту белую печь, эти маленькие окна, покрашенные голубой краской, нашу мебель. Никакого пластика тогда еще не было и в помине. Только запах строганной сосны. Я любил наш чердак, устланный соломой, любил наш забор и калитку. Наш сарай. И наши тропинки, вытоптанные на участке, ведущие к кустам смородины или грядкам с луком.

Вместе со мной жили две мои сестры. Младшая – белая, как отцветший одуванчик, ласковая и любопытная, старшая – темноволосая, более строгая и ревнивая. Говорят, что старшие дети всегда ревнивые, а младшие инфантильные. Наверное, это правда. Младшая сестра ниже меня на полголовы, а старшая, напротив, немного выше меня. Они резко отличались друг от друга, как два полюса. Младшая – южный, старшая – северный. Только позже я узнал страшную тайну, что у них разные отцы. Младшая – моя родная, а старшая – сводная. Младшая не имела никаких талантов, она напоминала мне красивую бабочку, которая просто порхает над полем, и вся ее жизнь – это бесконечный сбор сладкого нектара. Казалось, она любима богами. А старшая, познавшая трагедию того, что она – не единственная любимая дочка в семье, развивала в себе таланты. Например, к рисованию. Она обладала глубоким аналитическим умом и железной волей. С детства привыкла следить за нами, с детства привыкла к работе. Она и во взрослой жизни много работала, младшая же предпочитала работающих мужчин, которые таскали ей сладкий нектар.

Каким был я – не знаю. Наверное, довольно тихим, но по-своему любопытным, просто свое любопытство я удовлетворял иначе, чем мои сестры. Кто-то находил много интересного вокруг, а кто-то – внутри себя, в своей голове, в своих представлениях о мире. Таким был я. Бродить по тайге интересно, но слушать истории и сказки от матушки или гиляков гораздо интереснее. Читать и рисовать я научился рано, а вот говорить – достаточно поздно. А мотивация к разговору и вовсе возникла лишь в подростковом возрасте.

Вообще, сидеть рядом с матушкой, когда она что-то вязала, было самым большим блаженством для меня, особенно зимой. И всякое любопытство не имело смысла. В печке трещали дрова, а мать вязала носок. Я сидел и замороженно смотрел на нее, как ее руки умело управляют спицами; чувство покоя и тихого счастья переполняло меня. В будущем я ощутил нечто подобное всего один раз, с человеком, которому посвящаю эту книгу. Мне было за тридцать, и она сидела рядом и что-то вышивала. Белые волосы лежат на плечах. Лицо сосредоточенно. А я сижу и просто смотрю на нее. Моя душа словно возвращается в детство, как будто я оказался дома в самый светлый и счастливый для меня миг. Это апогей моего существования и счастья, теперь уже столь же далекого, как и мое детство. Именно такие светлые моменты заставляют меня писать, сравнивать и посвящать написанное, чтобы память моя не угадала, не упустила столько важных сердечных деталей. Два раза я был в детстве. Один раз с матушкой, второй раз с ней. Говорят, человек счастлив бывает тогда, когда возвращается домой. Или строит свой дом, похожий на тот, в котором он жил. Проще говоря, когда он возвращается в светлые моменты своего детства, в семью в ее каноническом смысле. Все время, пока мы жили в селе, мы были счастливы. По крайней мере, я так запомнил ту пору. Дома никогда не было ругани, меня никто не бил, не давил. Мы жили мирно, у нас не было голода или нужды. Отец работал участковым. Мать хозяйничала дома. Рано утром она кутала меня в шубу, завязывала мне шнурки и везла меня и сестер в ясли. Для меня было большой загадкой, как у нее получается завязывать шнурки, сам я не мог научиться этому мастерству и немного завидовал ей. У нас были деревянные тротуары, которые заносило снегом. Огромные синие сугробы провожали наш автобус.

С сестрами летом мы сбегали купаться на речку. Там я ползал по горячему песку. Можно сказать, я купался в песке, как делают некоторые птицы, когда чистятся от паразитов. Я рассматривал облака в синем небе, ощущая какое-то неясное блаженство, безумную красоту,

неописуемую нежность и легкость, похожую на эпилептический припадок, пока не напоролся ногой на острое зеленое стекло. Увидев море крови, я испугался, должно быть, в первый раз. Я помню страх, смешанный с недоумением. Из большого пальца торчал огромный осколок. Подбежала старшая сестра, вытащила его, сильная боль пронзила мое тело. Я не заплакал. Стерпел. Она забежала в реку и поплыла. Мне купаться запрещали, я был еще слишком мал. Я свалился спиной на песок и принялся внимательно изучать небо. Я даже запомнил форму облаков. Не знаю, почему так странно устроена память: кто-то помнит события, слова, а я вот помню такие детали, как холодные весы, на которых меня взвешивали при рождении, и форму облаков; особенно ярко помню свои ощущения. Я был околдован небом и всеми его явлениями. Околдован шумом реки и далеким гулом военного аэродрома.

Бывало, мы играли на кладбище. Там же стояло высокое бетонное бомбоубежище, по которому мы с сестрами лазили, беспокоя сон мертвецов. Когда я был голодный, по простоте душевной я воровал печенье и конфеты с могил. Это было счастьем – отыскать свежую могилу и наестся до отвала гостинцев, которые предназначались мертвым. Я не испытывал страха перед могилами, я еще не знал о смерти, и часто в шутку, по-детски, спорил с мамой о том, что такое смерть. Она говорила, что, если люди никогда не просыпаются, это и есть смерть, а я смеялся над ней и говорил, что все рано или поздно просыпаются. Так не бывает, чтобы человек спал вечно. Повзрослев, я понял, насколько я был прав. Само течение жизни говорит нам о том, что мы вечны. Даже я, маленький человек, знал об этом, еще не умея читать книг, не споря ни с кем, с чистым разумом просто знал, что это так. Лишь позже, когда на мой разум наслонилась культура моей среды, я стал сомневаться, но только на миг, только на определенный период времени. Бог всегда был со мной, в каждой вещи, в каждом амулете, в каждом опавшем листочке. И все было вечно. Расставались люди ради встреч, умирали ради рождения.

Друзей кроме матери у меня не было. Я очень хорошо помню, как на городской свалке я хотел подружиться с мальчишками, чтобы понять их. Я играл в их беспечные игры, но ни одно лицо не запало мне в душу. По этой причине моя семья была для меня всем.

Семья, живущая в деревне, в добре и любви, в тяжких трудах добывающая свой хлеб, стала для меня идеальной и в то же время – совершенно недоступной моделью. Когда я воспеваю природу, мне хочется воспеть и семью. Говорят, что семья – это ячейка государства, но на самом деле любая семья и род – это ячейка природы. Часть ее баланса. Мы – такая же часть тайги, как медведица с медвежатами, как волчица с волчатами. Как рождение и смерть. Вчера еще мы сами были волчатами, но сегодня стали людьми, а бесконечно сильный и мудрый инстинкт по-прежнему велит нам создавать семью. Семья как семя рода, из которого произрастаю я, неся в мир идею. Не бывает любви между мужчиной и женщиной без семьи. Даже деревья живут семьями. Духи леса не трогают тех, кто любит друг друга. Лесной туман охраняет тайны рода. Это особый мистицизм, сравнимый с библейским откровением.

Я рос в тайге. Рос счастливым, сытым и обласканным здешними красотами. Но беспечная пора закончилась, когда дед решил переехать жить из города в наше село, а нам отдал однокомнатную квартиру, куда мы и отправились. Мать хотела, чтобы мы получили образование, а в селе его, конечно же, не получишь. По мне, так лучше бы мы и остались жить в тайге, ведь там нас окружало тихое счастье, но мы добровольно приехали в ад. Ради туманного будущего сбежали от настоящего счастья единения с природой в мир сомнительных радостей, сбежали в бетонный, шумный муравейник. Моя мистическая тишина пропала. Началась новая эпоха в нашей жизни, о чем я и хочу рассказать. Конечно, я не все помню, и многие вещи могу путать. В частности, я бы не стал доверять датам. Но полностью можно верить моим ощущениям, ведь конечная цель для меня – передать эмоции, а не факты.

Отчаяние. Я нес его в себе. Прятал от людей. Как сказал бы Фрейд, я его подавил, спрятал в себя.

Кто услышит немой плач ребенка, который учится в третьем классе, еще не постиг страдание и потому, кажется, не может страдать? Кто так молод и так неопытен, но так чувствителен и раним, кто уже с детства обладает большой восприимчивостью и огромной фантазией, изучая себя самого, в противовес тем детям, которые открыты миру и все новое познают с радостью? Я все новое познавал с грустью, с нежеланием этого познания. Куда приятнее рисовать воздушные замки. Этим рассказом, пожалуй, спрячусь я в чужую голову, к человеку, что прочтет его, дабы там жить бесцветным призраком. Так переносенный ребенок прячется в матке, не желая познавать этот мир, борясь за то, чтобы навсегда остаться внутри женщины или родиться мертвым. Я хочу жить призраком в голове читателя. Я хочу родиться мертвым. Сейчас, как никогда, до слез, до крика, стоя у черты, я ощущаю глубокую потребность в объятиях, но, если Бог не дал мне объятий, пусть ими станет голова чужого, незнакомого мне человека. Я буду счастлив от осознания того, что кто-то приложит усилия, чтобы понять меня.

Я возвращался из школы домой, когда солнце садилось за горизонт, растворяясь тонкой красной полосой в пыльной городской дымке. Когда птицы прятались по крышам, а от мороза трещали деревья. Собаки тоскливо жались по колодцам. Люди серыми тенями спешили с работы домой. Я учился во вторую смену. Зимой темнело в пять вечера, и на последних уроках в окна класса закрадывалась тьма. На небе, затянутом снежной дымкой, было видно мерцание проступающих, еще бледных звезд, а луна боролась с солнцем. Гремел последний звонок, и я не спеша выходил на улицу, выпуская изо рта клубы пара. Мимо меня летели дети, которые радостно бежали домой, чтобы воссоединиться со своей семьей. Чтобы там спрятаться от скучных уроков, чтобы в родительской любви и ласке забыть серые лица учителей. Чтобы разделить ужин с популярной передачей «Спокойной ночи, малыши». Чтобы увидеть свои чудесные сны как повторение дня, в грезах рождая мечту о своей будущей жизни. Прекрасные дети, вы как малышки кеты, ведомые инстинктом, возвращаетесь в океан. Еще не озабоченные, еще чистые. Живущие в предвкушении будущих грехов, таящих в себе сказочные наслаждения. Искренне жестокие.

Я был одет в пальто, и теплые варежки болтались на резинках, которые проходили через оба рукава. На ногах я носил черные валенки, тогда все дети ходили в них. И благо, если у валенок была резиновая подошва: можно было кататься по льду. А без нее они не скользят.

Школу я не любил. В ней я откровенно скучал, все казалось мне тут ненужным, неспособным занять мой разум. Я любил сидеть и фантазировать на задней парте, все время поглядывая на часы, висевшие в классе, и рисовать. Я изрисовывал тетрадку за тетрадкой, а когда меня вызывали к доске, я отчаянно молчал, не в силах ответить на простые вопросы. Все потому, что я не слушал учителей, не знал, о чем идет речь. Гораздо интереснее было вернуться за парту и снова рисовать, порой даже в учебниках, которые в то время были казенные и выдавались в школьной библиотеке. Я получал свое наказание молча, мне чертили красной пастой двойку или жалобу, и я был свободен. Больше двоек меня пугало лишнее внимание, когда весь класс смотрит на меня. Учителя, конечно, этого не знали. И я готов был получать двойки, лишь бы не выходить к доске вовсе. Мне не нужно лишнее внимание и блага мира, которые сулят хорошие оценки. Если я и думал о будущем, то о будущем столь далеком, где от меня не останется и памяти.

Лучшее время было после школы, когда я позволял себе гулять, валяться в снегу, изучать кварталы, дороги и стройки. Пусть в потемках, зато так сильнее разыгрывалось мое воображение. Я валялся в полном одиночестве в снегу на болоте и смотрел, как черные ветки редких деревьев кромсают небо. Как самолеты моргают светом и летят в неизведанные страны. Как снежинки ложатся на мое тело, покрывая меня зимним саваном. Как тает мое время, как неизбежно и тихо, словно смерть, приближается мое мучение, моя пора возвращается туда, где я

заикался и мочился от страха. Где я не раз сотрясался от горя и застрявшего комом крика, где я научился говорить, но научился мечтать. В мой городской дом.

Проблема не новая, многократно описанная, но от банальности ее мне было не легче. Я боялся отца. Надо мной смеялись учителя, им было не понять моих страхов. Думаю, и мать не понимала. Наверное, на самом деле это были глупые страхи. И глупо было так переживать. И надо было быть спокойнее. Но тогда это нечто казалось мне трагедией, как порой ею кажется то, что мы называем бурей в стакане. Но я не могу дать точной оценки моим страхам. И я не мог никому их объяснить. Я не мог выговориться, излить свой страх. Я просто порой мечтал сбежать из дома. Идти, куда глаза глядят. Вся моя агрессия сводилась к желанию бегства. Но я был слишком мал, чтобы принять столь серьезное решение. Я слышал, что многие дети убегают из дома, подсознательно ищут невидимую цель, они не понимают сами этой цели, но ощущают внутренне, что нужно идти. Они сбегают, попадают в милицию, снова сбегают, попадают порой в детский дом, где учат не детским правилам игры, и, если человек с возрастом так и не осознает своей цели, то мечется по жизни от сумы до тюрьмы. В то время, конечно, я не мог подвергнуть себя глубокому анализу, это позже я понял, зачем заглядывал в окна и что искал там. Я искал то, что хотел обрести любой ценой. Все звезды мои, я и сам излучал свет звезды для многих, но не было лица, что светило бы для меня. Во всех окнах я видел отражение своего кошмара. Хотя были окна, где пахло карамелью и зимним праздниками, но и там я видел те же самые мелочи, которые делали любое существование отвратительным.

Мы жили в однокомнатной квартире на втором этаже, мать, отец, бабушка и трое детей. Играть в этом доме можно было, только запершись в ванной, либо днем, если нет родителей, они на работе, а ты заболел и тебе не нужно идти в школу. В остальное время ты должен быть спокоен, жить внутри себя своей жизнью. Вечером, сидя на полу, смотреть программу «Время» со всей семьей, либо на кухне по очереди делать уроки. Любой громкий крик или разговор приводил к вспышкам агрессии у родителей. Нам было тесно, как курам в клетках, как собаке в будке на цепи. Мы были детьми и постоянно дрались, а мать нас разнимала. Спали вповалку на диване, а мать с бабушкой на кровати. Потом, правда, меня отселили спать на раскладушку, я страдал энурезом и ночными страхами. Задыхался, кричал, видя дурные сны. Под утро просыпался мокрым и стыдился этого. К врачам меня не водили, хотя бабушка и говорила часто, что я уже взрослый и это ненормально. Если бы спросили меня, я бы сказал, что это все ненормально. Что мы все ненормальные, раз позволили загнать себя в эту однокомнатную клетку, если на земле есть моря и океаны, поля, леса, реки, просторы. Где можно жить счастливо. Но мы в клетке беспомощно жались друг к другу, доставляя мучения. Единственное наслаждение – это боль, которую мы доставляли и терпели. Жалкие черви в глазах сурового Бога, которому все время молилась бабушка, а я повторял за ней.

Мы были такие разные, что мне непонятно, как мы могли жить вместе, какая космическая сила свела нас. Мать широкая, низкая, но с милым добрым лицом. Отец такой же широкий, тогда еще не толстый, с вечной щетиной на лице и красными воспаленными глазами. Руки короткие, пальцы короткие. Походка нервная, быстрая. Волосы стриженные, жесткие. Брови как у Брежнева придавали лицу угрюмый свирепый вид. Сестра младшая – светловолосый ангел с синими глазами. Старшая – темноволосый. Вулкан в женском обличии. Бабушка высокая и худая, строгая, морщинистая. Вторая бабушка – низкая, рыжая, вечно пьяная. Я курносый, тонкий, жалкий, синеглазый ребенок. Мы будто были выдернуты из разных миров и ради развлечения пантеона богов закинуты на ринг, с которого нельзя уйти, даже после смерти, ибо нам еще долго вращаться в круговороте сансары.

В один из вечеров я медленно брел домой, растягивая время. Тысяча пятьсот тридцать шесть шагов от школы до дома, не забуду это число никогда. Я знал, что отец придет с работы примерно в семь, поест, посмотрит новости и только после этого уснет с громким храпом. И это мой шанс. Нужно попасть в квартиру, когда он будет спать, быстро сделать уроки и тоже уснуть.

Я не хотел попадаться ему на глаза. Чем позднее я прибуду домой, тем больше шансов избежать конфликта. Но уже было темно, играть не с кем, и я не придумал ничего лучшего, чем спуститься в колодец во дворе. Там не так сильно дул ветер, вместо земли под ногами – замерзший, зеленоватый лед, бетонные стены объяли меня словно теплые ладони. Пахло цементом. Над головой – огромная дыра, через которую я попал сюда, в нее было видно мерцающие звезды и проплывающую зимнюю пелену. Эти звезды я запомнил на всю жизнь, как пьяный запоминает порой незначительные детали вчерашней попойки. В тишине и покое я дышал морозным воздухом, а время шло. Было тихо и спокойно. Мне не было холодно, я был тепло одет. Я мог думать, о чем хочу, я мог фантазировать и мечтать.

В тот вечер я дождался, пока отец уснет, пришел домой часов в одиннадцать, поел, сделал уроки и тоже быстро уснул. Мне казалось, мой план удался. Вечер прошел спокойно. Но ночью я проснулся от сильной боли, с недоумением на лице, не отойдя от сна. Мне казалось, Зевс с высокого Олимпа мечет в меня свои молнии. Ночные кошмары воплощались. Спина горела огнем, полыхала как дерево, которое увидел Моисей. Это не символ духовного кризиса, это даже не метафора, это то, что люди глупые зовут реальностью. Сначала я не разобрался, в чем дело, даже боль казалась мне не слишком сильной. Такая же далекая, как загадочное эхо в горах. Я открыл глаза и легонько вскрикнул. Проснулся окончательно. Было темно. И снова боль, на этот раз я уже ощутил удар по-настоящему.

– Опять обоссался! – услышал я истеричный голос отца.

Он уже изо всех сил бил меня ремнем. Он старался.

Его, видимо, раздосадовал первый удар, на который сонное тело не смогло среагировать. Я закричал. Проснулась мать. Она не сразу поняла, что происходит. Может, это снова ночной кошмар. Но потом сообразила и отобрала у отца ремень. Обошлось без драк, она просто вырвала его у него из рук и наступила неловкая тишина. Но меня поставили в угол. Я дрожал от холода, в окно падал лунный свет и загадочно стелился по ковру. От криков проснулись остальные дети, с любопытством смотря на меня. Вскоре они уснули. Мать убрала испорченную простынь, тихо сказала, чтобы через пятнадцать минут, как отец опять уснет, я шел спать. Пока он не закрыл глаза, она боялась его сама. Мне нужно было покорно принять свое наказание. Я был не против.

Наступила тишина, я стоял в ночной комнате, в углу, в одних трусах, всматриваясь во тьму. В тот момент я почувствовал сильнейший эмоциональный всплеск. Эмоций было так много, что они будто вода из снов заполнили комнату. Но это была теплая вода, та вода, которая символизирует чистые чувства и вечную любовь. Не стало страха, ненависти, боли, просто как откровение я осознал, как мы страдаем в этой комнате. Да, я был мал, но я запомнил это чувство отрешенности, словно я разум вне тела и вижу все со стороны, я готов был принять любое наказание, лишь бы спасти нас. Помню эту комнату, обои, спящие лица, ковер, луну за окном. Люди несли свою немощ в нелепых телах. Как животные, они беспомощны перед лицом стихии. Перед лицом буйных просторов собственных чувств, там, где левиафан купается в кипящих водах. Их крики и желания, как бы жалко они ни звучали, ничем не отличались от жалобных криков птиц, от стонов падающего дерева, от скрипа ржавых качелей. Они не в ответе за себя, бессильны перед своими страстями, такие слабые и такие жалкие. Все есть страдание, где есть невинные. Мне так хотелось поделиться с ними этим пониманием мира, но я не мог выразить чувств, ведь я еще ребенок. Через свою боль я оплакивал их, я просил прощения у Бога за нас, словно маленький Христос в Гефсиманском саду. Я будто хотел страдать, если это поможет нам быть счастливыми. Но белесый змей играл в бушующем океане, раззадоривая наши страсти.

Я сделал все, как говорила мать, через пятнадцать минут отец уже спал, и я закутался в свежую простынь, обернулся ей, как будто она могла меня спасти и защитить, и до утра пытался расслышать в грозном храпе ноты доброты, как в белом шуме пытаются расслышать

глас Божий. Я бы все отдал, чтобы вернуться туда, в ту ночь, и умереть на этой койке, чтобы пришло озарение к тем, кто совершает жестокость, не ведая о том. Но я обернут простыней, словно покойник окружен сосновыми досками. Я уже глубоко под землей, и близкие, дорогие люди хоронят меня. Меня отправили в ад, но я отомщу за это любовью.

Тем не менее, я научился выживать. Я просиживал время в колодце после школы, или шел к знакомому в гости, который по тем временам жил весьма богато. Его отец был коммерсантом, таким позднесоветским торгашом, и он очень хорошо зарабатывал. У них была огромная квартира, большая кухня. А жена была молода и красива. Я мог оценить это. Хотя я и побаивался ее, от нее веяло силой и уверенностью. В гостях меня кормили, причем я ел то, что нигде более мне не удавалось попробовать. Много десертов, какие-то сумасшедшие по тем временам блюда.

А если мне случалось прогулять школу, я бежал лазить по подвалам, следуя за своими снами. Правда, я не помню, что было первым – страшные сны о темных подвалах, или темные подвалы, которые в итоге породили страшные сны. Это было особое ощущение страха и возбуждения, когда спускаешься по ступенькам в темноту. Там, среди мусора, игрушек и труб я ощущал полную тишину и покой. Только где-то вдалеке жужжали машины и иногда в тусклых окнах подвала мелькали чьи-то ноги. Фактически, это было какое-то необъяснимое хобби – изучать все эти подземные лабиринты в домах. Чем можно объяснить подобное влечение, я не знаю. Возможно, все дети лазают по подвалам. Возможно. Меня не интересовали друзья, компании, я все делал один. Само ощущение холодного бетона, тишины и пустоты вперемешку со страхами полумрака наполняло мою жизнь смыслом. Наверное, это была аддикция, такая же, как нюхать клей. Но вместо клея я выбрал подвалы.

Хотя клей я и попробовал позже.

В школе меня не особо жаловали. Все дело было, наверное, в моем умении хранить молчание в любых ситуациях, даже если меня вызывали к доске. Учителя жаловались матери, а та порой жаловалась отцу, прося его воспитывать меня. Но я не учился не из глупого негативизма, просто не было никакого интереса к учебе. Двойки или пятерки меня совсем не мотивировали. Я терял тетрадки, терял учебники. Я просто был далек от того, что происходит в классе, бродить по подвалам гораздо интереснее. Позже, уже во взрослой жизни, свое впечатление о подвалах я высказал в книге «Все пророки лгут». Это были мои фантазии о том, как люди в результате катаклизма живут среди этих труб, в серости и нищете, прижимаясь к теплым батареям. Моя школа – это подвалы, а, если было тепло, то болото. Туда я тоже любил убежать, чтобы высматривать в бурлящих водах рыбу и больших, страшных клопов. Рвать камыши. Мокнуть по колено в рыске. И просто искать счастье в ощущении свободы.

Наверное, я бесконечно искал мою тайгу. Искал родные болота и родной мох. Но находил только городской шум и слабое подобие того ощущения таинства. Говоря языком психологии, я регрессировал. Я бесконечно пятился назад там, где следовало идти вперед. Но тайга снилась мне в тяжелых эмоциональных снах. Эти сны были самой природой. От контраста нежных лесов и грубости бетона я сходил с ума.

Однажды я играл дома, на балконе, где стоял белый шкаф, всегда закрытый, куда я никогда не залезал. Но именно в этот день он почему-то оказался незапертым. Я открыл потрескавшуюся деревянную дверь и обнаружил в нем множество всякой одежды. Там были старые шинели отца, его костюмы и брюки. Работая в милиции, он собирал списанную одежду в надежде, что когда-нибудь она пригодится. Тут пахло пылью и мокрыми тряпками. Наверное, на балконе она успела отсыреть. А внизу, на полу, я обнаружил множество военной стоптанной или поврежденной обуви. Отец служил в армии, потом пошел в милицию – видимо, военный порядок привлекал его. Вместе с тем он собирал эти ненужные вещи, которые, скорее всего, впоследствии выкинул на помойку. Под гнетом любопытства я стал шарить по карманам шинелей. Дело в том, что отец обладал плохой памятью. Даже ребенком я это понимал. Он часто

забывал деньги в старой одежде. Можно было легко насобирать копеек двадцать на мороженое, а то и вовсе найти рубль. Правда, вместо денег первым делом я нашел патроны от пистолета Макарова. Я не знаю, почему он хранил их там. Но факт, это были боевые патроны с пулями. Латунь сверкала на солнце. Я заворожено смотрел на этот символ смерти, символ мужской силы для одних и символ страха для других. Я знал, что будет, если бросить их в костер, но каким-то чутьем я понял, что каждый патрон на счету. Это позже я узнал, что в милиции за каждый выстрел нужно отчитаться, а тогда я это только почувствовал. Покрутил в руках, порадовался и положил на место.

В самом низу возле стенки стоял шерстяной мешок. Я заглянул туда и обнаружил женские бигуди для завивки волос. Маленькие зеленые резиновые штучки понравились мне, я стал их изучать, рассматривать. Одну я принес в комнату, закрыв за собой балкон. Это странно. Я ощутил холодок. Как дуновение судьбы. Стало не по себе, но почему-то я не остановился. На кухне были спички, родители их прятали в шкаф. Тихонько чиркнув ими, я поджег бигуди. Резина закоптила черным, огонь разгорался. В какой-то момент я испугался этого, подбежал к раковине, набрал в кружку воды и залил свое преступление. Едкий дым ударил в нос. Это был, конечно, не пожар, но все же вид огня испугал меня, казалось, в этом маленьком намеке я увидел стихию, которую не могу контролировать. Стихию, которая пожирает все живое. Две стихии пугали меня, и это будет ясно ниже. Огонь и вода, что символизируют страх перед сильными эмоциями.

Дома пахло дымом. Я открыл балкон, проветрил помещение. И на какое-то время забыл об этом поступке. Я играл в свои игрушки, о чем-то думал, погружаясь в детские мечты. Вечером пришел с работы отец. Матери еще не было дома. Я помню его тяжелый шаг, возрастающую тревогу, когда ключ хрустит в замочной скважине. Слышу, как ветер стучит в окно. Стало холодно. Черные ментовские полусапожки сделали два шага. Раздраженный голос громко спросил: – Что горело?

Горел я. В аду.

Да, он почувствовал запах. В это время я был в комнате не один. Младшая сестра пришла с улицы и сидела на койке. Она была младше меня на два года. Совершенно белая, как призрачок. Волосы, как облака. Но характер эмоциональный, живой. Она была доброй, жалела кошек на улице, здоровалась с незнакомыми прохожими. Она тянулась к людям, я же от них бежал. Мы – противоположность, но мы были по-своему близки. Старшая сестра жила своей жизнью, но младшая бродила со мной по заводам, стройкам, заброшкам и канавам. Детский взгляд, как у животного. Она легко плакала и легко смеялась. За ней рано начали ухаживать мальчишки. Ее баловали. Наверное, поэтому в будущем она не захотела работать, не смогла создать семьи. Но сейчас она ребенок. Ребенок ревнивый и так же любящий мать, как и я.

Отец не стал разбираться, кто и что поджигал. Он нас обоих затащил на кухню и запер дверь, чтобы мы не сбежали. Зажег газовую плиту. Синий цветок горел над конфоркой. Отец взял за руку младшую сестру. Ее тонкое запястье было сковано этими сильными короткими пальцами. Она трепыхалась, как веточка ивы, скованная льдом. Девочка доверяла отцу, пока еще в ее глазах было лишь недоумение.

Но вот я услышал ее крики, запахло горелой плотью. Она вырывалась. Она билась. Ее сердце бешено колотилось. И снова левиафан плескался в кипящих водах, никто был не в силах его усмирить.

Я знал, что я следующий. Знал, что это неизбежно. Ощущение было очень похоже на ожидание своей очереди на прививку в кабинете доктора. Страшно, но надо пережить. Это просто дождь, он должен пройти и снова будет ясное небо. Отец мучил ее недолго, как мне показалось. В конце концов, вся заплаканная, с обожженными руками она упала на пол. Жалкий комочек эмоций, вибрация страдания и обиды. Она всю жизнь будет его укорять за это. Всю жизнь ему мстить. Ему и мужчинам.

Пришла моя очередь. Я думал, что выдержу, что не буду кричать. Но это было выше моих сил. Чем сильнее я вырывался и отодвигал руки от огня, тем яростнее становился отец. Это походило на борьбу. Саму боль я не помню, помню только страх огня, помню эмоции, но не помню времени, не помню, какая была погода, не помню, что было после, спал ли я в эту ночь, ел ли я что-нибудь. Помню только мокрые штаны и кожу, которая опадала с моих рук небольшими черными кусочками. Как листья с деревьев осенью в ожидании зимней стужи. Как снег в тихую рождественскую ночь. Опадала не сразу, наверное, через час после этого. Я впал в протрацию.

Через пару дней я пошел в школу. Но писать у меня не получалось. На руках были огромные волдыри, которые потом стали лопаться. Учителям я врал, что упал в костер. Находились те, кто мне не верил, пытались выяснить, что случилось. Но я был нем как рыба. Думаю, что и сестра поступала так же. Казалось со стороны, что мы просто дурные дети, которые нашли приключения на свою голову, балуясь с огнем. Я не помню, что сказала мать, когда смазывала нам руки кремом от ожогов. Я точно с ней об этом не говорил. Правда, помню, что она сильно ругалась с отцом, может, сестра рассказала, я не знаю. Не уверен. Зато через какое-то время отец отвел меня в сторону и тихо сказал:

– Мать не всегда будет дома, помни об этом.

Я помню об этом.

Однажды он выловил меня без матери дома. Долго пинал ногами, потом запер в ванную и выключил свет. Я сидел в углу, из глаз бесконечно лились слезы. Я, конечно, снова обмочился. Кроме того, по моему лицу на рубашку и на пол стекала горячая кровь. В темноте я даже не сразу понял, что это кровь. Казалось, я изрыгаю вместе со страданием все жидкости. Это бушующий океан чувств изливался из меня. Вода символизирует чувства. Левиафан плескался в этом черном океане – стихия чувств, с которой мне не совладать. И люди, в том числе мой отец, потерпели крушение в этих холодных водах. Я не мог им помочь. Я разучился говорить. Это была не шутка. Это разновидность аутизма, когда физически говорить я мог, но не выходило говорить о главном. Я погружался в тишину. Десятилетия тишины, и только в творчестве я мог выговориться, выразить этот бушующий океан, в музыке, в мелодии. Мне было тяжело, когда я видел этот океан в других людях, тяжело, когда я ощущал, что люди не могут совладать с этой стихией.

Очень много воды. Меня тошнило водой. А во взрослой жизни меня будет тошнить чувствами и эмоциями. Кажется, я залил всю ванную, но в темноте я не видел этого, просто ощущал. Кроме того, я боялся темноты, панически, и я был в ней. Я находился внутри страха. Отец через какое-то время открыл ванную, включил свет, и нам обоим открылась безрадостная картина. Весь пол залит кровью, ей забрызганы стены и ванна. Пахнет дурно. Я лежу у него в ногах, жалкий и мерзкий. Он с силой отрывает меня от пола, как тряпичную куклу, легко подносит к большому зеркалу. И я вижу отражения себя и отца. Мы очень похожи друг на друга, почти одно лицо, лишь пропасть лет делает нас разными. Те же глаза, то же недоумение во взгляде. Даже цвет глаз один и тот же, ярко синий, как цвет весеннего неба, как нежные васильки на летнем газоне. Он громко говорит:

– Посмотри на себя, ты думаешь, тебя пожалеет кто-то, если будешь нить?

Я молчу. Он кричит. Ему так не хватает своей тишины. Я не помню всех слов, помню только, что нить нельзя. Я уже не ною. Помню, что надо быть мужиком, я уже мужик. Но я далеко, я не здесь. Крики его замолкают, я падаю на пол, терплю молча удары, потом мне кидают в лицо половую тряпку, и я мою ванную за собой. Стираю штаны и одежду. Смотрю, как по эмали ванны в черную трубу уходит розовая вода. Все становится чистым. Все делается в трансе, на автомате.

Много ночей я спал на унитазе во внутриутробной позе. Отец считал, что раз у меня энурез, мне с унитаза не стоит слезать. Он заходил и проверял туалет, вдруг я слез, тогда он бы

наказал меня. Но я был покорным, и повторного наказания не требовалось. Я был мал, потому легко умещался на белом ободке. Только тело быстро затекало, и приходилось осторожно ворочаться, чтобы ничего не сломать.

Время шло, снова приходит ночь, я мучаюсь бессонницей, я мало ем. Но это проходит. Я не хочу учиться, мне все неинтересно, я не могу сосредоточиться ни на чем. Я теряю социальные навыки, я теряю социальный мотив. Мне неинтересно получать пятерки, мне неинтересна чужая хвальба, мне все равно, кем я буду, где буду работать и что будет со мной. Девочки меня не интересуют. Меня интересуют только эмоции, и я ищу форму для них. Тогда я бесконечно много рисовал, но я еще не знал, что это поиск формы. Это понимание пришло через многие годы. Безразличие к себе я сохранил лет до тридцати. И это важный момент. Просто хочу сказать, что до этого возраста я не тянулся к женщинам, меня мало интересовал секс, я одевался как свинья, я не ухаживал за собой, я редко мылся, я жил в ужасных условиях. Но время придет, и я стану другим. Я проснусь.

Пытался ли я как ребенок спасти себя? Да, я сбежал из дома, правда, ненадолго. Один раз я случайно закинул ключ на дерево и не смог его снять. Отец, придя вечером, был взбешен тем фактом, что он не мог попасть домой. При всей пестрой малышне с нашего вечернего двора он принялся пинать меня под деревом. Несколько сильных пинков под живот, удар кулаком – и я в страхе ползу на дерево, чтобы достать ключ, который веревкой зацепился за ветку. Он висел высоко, я боялся упасть. Мне было не по себе от того, что отец не понимает всей драматичности ситуации. Если я упаду, я разобьюсь. И я упал. Не разбился, только потерял дыхание, когда от удара сложились легкие. Но отец тут же продолжил меня пинать, это продолжалось до тех пор, пока я не захаркал слюнями с кровью. Липкая мерзкая жижа лилась мне на футболку. Отец в омерзении отпрянул от меня. Он отвернулся, и я решил бежать. Вскочил на ноги и что есть силы побежал. Мне было очень стыдно, что мое горе видел весь двор, вся малышня, все бабки. Все они будут смеяться надо мной. От этого было горько. Я бежал очень долго, все время слыша шаги за спиной. Мне казалось, что отец гонится за мной. С разбегу я прыгнул в высокую траву и затаился. Мне казалось, что он рыщет в траве. Но это уже была паранойя. Я никому не был нужен. Даже не знаю, что хуже: чтобы меня искали ради избиения или быть никому не нужным.

В тихом шелесте я успокоился. Трава щекотала мое тело. Красное небо, кометы, другие миры видели мои глаза. Я плакал, но мудрость входила в мою жизнь вместе с печалью. Я лежал, пока не стемнело. Мне стало легче. Страх, адреналин – все ушло. Единственное, что меня беспокоило – что надо возвращаться домой. Не ночевать же в этом небольшом поле. У меня был план. Нужно было просто дождаться, пока мать придет с работы. И тогда, при ней, он не тронет меня. Я ждал, пока на небе засияет луна, и только после этого пошел домой. Но, даже дойдя до своей двери, я долго вслушивался в замочную скважину, все ли дома спокойно. Главным было услышать материнский голос, но я его не слышал. Был момент, когда я готов был постучать в дверь, но какое-то сомнение остановило меня.

Я выбежал на улицу и там встретил матушку, она шла с работы. На тот вечер я был спасен. Мать ничего не знала, я думаю, она не знает ничего по сей день. В этом бегстве была моя защита. Как ребенок я искал выход, но выхода не было, и оттого я жил в страшном напряжении. Напряжении, которому нет описания. В страхе. В темноте.

Неудивительно, что я рос неврастеником, боясь каждого шороха, каждого нового человека, который приходил в мой мир, ища покой в своих фантазиях. Выдуманные друзья были куда ближе, чем настоящие люди. Завидев издали человека в милицейской форме или военного, я сжимался, словно червь, которого ткнули булавкой. Фуражка с кокардой стала символом ненависти.

Учителя, считая меня умственно отсталым, отправляли меня в коррекционный класс, где со мной занимались психологи. Там я сидел за одной партой с теми, кого боялся весь район.

Все эти бритые наголо ребята по той или иной причине не вписывались в общество. Кто-то кидался с кулаками на учителей, кто-то воровал и грабил, кто-то сидел на клее и действительно был умственно отсталым. У многих и родителей-то не было. Кто-то из родителей много пил, а кто-то сидел в тюрьме. Дети с шрамами на лицах и в душах вынуждены были ходить на эти уроки, где их отделяли от счастливых детей, как диких животных в вольере. Все мы несли огромный кармический груз, нам предстояло отвечать за грехи своих родителей. Мне кажется, более половины не доживет и до тридцати. Они сядут на стакан, на иглу или в тюрьму. Почти все эти дети имели приводы в милицию. Пожалуй, я был единственным, кто ходил сюда по причине совершенно некриминальной. Моя тишина привела меня в этот класс. Но, как ни странно, общаться с детьми «второго сорта» мне было легче, чем с теми, кого дома ждала теплая кровать.

Каким бы страшным ни казалось это место и как бы ни боялись учителя этих детей, мне было с ними куда спокойней, чем дома. Я предпочитал криминал своему отцу, одетому в форму закона и порядка. Уж лучше быть в компании с теми, чьи отцы сидят по зонам, чем в компании собственного отца, чья грозная португеза навсегда стала символом жестокости.

Впрочем, насмотревшись жестокости со стороны отца и со стороны детей, с которыми мне пришлось учиться, я понял одно: я никогда не стану мужчиной. Я не хочу быть мужчиной. Меня тошнит от слова «мужчина».

Помимо описанных случаев было много другого, о чем не стоит говорить, о чем не стоит писать. Чего можно стыдиться и бояться. Что однажды узнает лишь один, самый близкий человек, если такой появится в моей жизни. Но я не напишу этого тут, чтобы избежать собственного позора. Пусть всю жестокость, которую я не вылил на эти страницы, зальет алкоголь, спрячет хрупкая осенняя листва. Я – кукла из хрустала, я могу треснуть от напряжения в любой момент. Я – горящее дерево, которое не может погаснуть. Я тот, кто любит. Я тот, кто плачет. Я учился сострадать.

После тридцати я снова встретил отца. Он состарился, побелел, потолстел. Брови его, продолжая выражать всю ту же суровость, были жесткими и седыми. Даже жесткая щетина была седой. Ставший на полголовы ниже меня гигант превратился в карлика. Он бесконечно кричал, ругался, скандалил. Однажды, когда я был уже подростком, мне пришлось его избить. Тогда мне он казался сильным и нерушимым, как скала, но сейчас я увидел, что он слаб и стар. Увидел, что он всего боится, за все переживает. Он мнительный. Он – это я в том зеркале, мое отражение, он испуган и подавлен, ему нужна помощь. И я дал ему столько помощи и заботы, сколько было дать в моих силах. Я купил ему землю, машину, дал будущее, дал покой. Это была моя месть. Я отомстил за боль любовью. И когда я свершил свой страшный суд над ним, свершилось и маленькое чудо в моей душе. Я вдруг стал следить за собой. Я вдруг стал мыться. Я вдруг стал пользоваться парфюмерией. Вдруг возник мотив жить. Вдруг появился во всем смысл. Мой мир перевернулся. Я по-прежнему плакал, самая большая слабость – это невозможность не расплакаться. Невыносимо тяжело видеть чужое горе, я все принимал слишком близко к сердцу. Но я перестал прятаться от чужого горя, я научился отвечать людям добрыми словами, даже если они меня раздражали. Бывало, я сам взрывался, но потом вспоминал, кем я не хочу быть, испытывал чувство вины за свое поведение и искренне извинялся. Я стал другим. Глубокое осознание общего горя пришло ко мне. Из счастья всей семьей мы шагнули в пекло, в мир суеты, в мир познания. Как Адам, сорвавший яблоко, мы искусились городской жизнью, и заплатили за это сполна.

Я не просто простил человека, которого так боялся, я его понял, а это важнее всего.

В заколдованном лесу, на болоте, ночью видно расчерченное ветвями фиолетовое небо. Но на черной земле светятся загадочным светом ведьмины круги. Земля под ногами хлюпает, и на каждом упавшем гнилом стволе горят зеленым светом точки. Еще тут летают светлячки.

Лес пульсирует живым светом, мне страшно и в то же время любопытно. За спиной деревянный домик и бесконечные поля с оврагами. Родители спят. Я специально пришел ночью на болото, чтобы испугаться его чудного света. Я не придумываю, не приукрашиваю, вокруг каждого дерева горел огненный круг из фосфора. Над каждой кочкой вились светлячки; стояла жуткая тишина, оттого любой всплеск воды, треск ветки заставлял меня трепетать. Красота неопишная, страх – такой же. Восторг видеть мир столь красивым и любопытство переполняли меня. Я слышал не раз, что такое может быть, что болота иногда излучают свет, но чтобы такой... Потом в школе я написал об этом рассказ, и учительница, которая считала меня глупеньким, строго спросила меня:

– Зачем ты выдумываешь? Я же просила написать о том, что случилось интересного за лето.

Я не стал ничего объяснять. Извинился, получил две двойки – за сочинение и за ошибки – и уселся за свою парту.

Но вернемся к моему болоту. Пожалуй, увиденный свет среди болотной грязи – это лучшее, что случилось со мной за этот день. Его окончание как чудо. А начался мой день с побоев отца перед домом за то, что я другу сказал, что мы едем на дачу с ночевкой. Отец избил меня, потом отвел за дом и там зло объяснил:

– Если ты сказал другу, что уезжаем с ночевкой, он еще кому-то скажет, в итоге будет знать весь двор и нас обворуют.

Конечно, он был прав. Его паранойю можно понять – тут воровали все. Когда-то у него угнали даже единственную радость – мотоцикл «Иж Планета». Он озлобился. Он мент, и жил среди воровского отребья. Я же боялся встречаться взглядом с друзьями, зная, что они усмеются, видя мое падение. Видя, как тяжелые ноги пинали меня в живот. Но я верил, что через неделю они все забудут, я и снова смогу общаться. Не в первый раз. Только время смывало мой позор.

Тем не менее, я с радостью ехал на дачу, потому что там были леса, поля, реки и озера. Тропинки лесные очаровывали меня, а запредельная, звенящая тишина сводила меня с ума. Ради этого ощущения стоило многое вытерпеть.

Мы ехали на дачу часа три на нашем стареньком ЛуАЗе. Эта была та еще машина, почти вездеход: очень дешевая, очень легкая, с брезентовым тентом, но мы были счастливы, что могли позволить себе эту машину. Отец радовался, тыкая пальцем в спидометр, если ему удалось с горки разогнаться до сотки. Но на такой скорости все железо дребезжало, грозясь развалиться. Сидения тут были твердыми, солдатскими. Этот ЛуАЗ вроде бы был списан из военной части и предназначался для перевозки десанта. В этой же машине мы возили навоз, свиней, картошку, старую мебель и прочее барахло.

Дача наша стояла в районе Чирков, добраться туда было непросто. Перед этим мы проезжали Корфовские каменоломни, где работал когда-то наш дед по отцовской линии, который, надышавшись пылью, заработал рак легких и умер. Он в свое время выгнал из дома моего отца, потому что не мог его прокормить, воспитывал его побоями, много пил. И все по закону кармы повторялось. Позже я тоже стал много пить и работал то грузчиком, то уборщиком. Мы как будто плодили бедноту и нищенство, плодили боль и наши драмы, преумножая слезы на земле.

На Чирках мы еще долго гнали машину по жаре, пока не доезжали до лесополосы, где заканчивались всякие дома и всякие участки. Наш дом стоял на окраине. Небольшой вагончик, крыша двускатная, которую отец сделал собственными руками. Рядом находилось еще два участка, но они были необработанные, заброшенные и поросли буреломом. За песчаной дорогой – овраг, где мы набирали воду. Наша дача и наш участок отличался высоким уровнем быта. Кроме дома тут стояли душевая, туалет, бочки с водой, аккуратные грядки, навозные кучи и, конечно, парники. Есть в те годы было нечего, и мы кормились с этого участка. Я по сей

день помню, что для семьи в пять человек на зиму нужно двадцать пять мешков картошки. Мы ее растили, окучивали и собирали. И родители, и мы жили в постоянном труде.

Кроме того, мы растили баклажаны, кабачки, помидоры, много разных ягод. Но картошка была основным кормом. Все это по осени мать закатывала в банки, и мы знали, что не помрем с голоду, у нас не будет хлеба, но будет картошка и огурцы. Будут салаты. Будут яблоки и груши. Тогда я не понимал всю тяжесть нашего положения, думая, что мы живем, как все люди, потому что не ведал о мире. Мне казалось, все работают, не покладая рук, день и ночь.

Пять дней родители пахали на работе, а выходные мы проводили на даче, с утра до ночи работая там. Кормили комаров и гнусь, коптились под солнцем. С криками, с матом, с побоями мы растили урожай.

Наша работа как детей заключалась в том, что с утра мы таскали ведрами воду в бочки. Затем брали в руки тяпки и окучивали картошку, снимали с ее листочков колорадских жучков. В зависимости от времени года, мы сажали растения, делали теплицы, ухаживали за ними. Если это осень – собирали урожай. Если зима – готовились к сезону. Вечером, когда садилось солнце, поливали ручной лейкой огород. Самым тяжелым было собирать ягоды, потому что на Дальнем Востоке, да еще и возле болота, жило много мошки, которая лезла в глаза и нос. Мы надевали специальные шляпы с сетками, но они плохо помогали. И лица наши постоянно были опухшими от укусов.

Да, мы уставали, и в сердцах я называл отца плантатором, в страхе убегая от него в лес после этих слов. Но по-своему я был счастлив тут. Счастье жило вопреки горю и слезам. Я вообще заметил, что в детстве можно быть счастливым после любых потрясений, а горе эфемерно. Я был счастлив, когда бродил по лесу, когда купался в лесных озерах, когда наблюдал за лягушками на берегу. Когда находил их икру. Я был счастлив редкой тишиной. Очарован звездным небом, ведь оно тут ярче, чем в городе. И самое страшное, и в то же время самое замечательное – тут не было людей. Я отдыхал от них. Лес – это счастье аутиста. Я общался с деревьями, с болотом, с грибами, с пнями – с кем угодно, лишь бы не с людьми. Если на нашу дачу приходили посторонние люди, я прятался от них на чердак, зарывался в сухие тряпки и сидел там.

Храп. Я его ненавидел. Когда отец спал на даче, стоял такой храп, что крыша дома сотрясалась, шифер вибрировал вместе с его вздохами. Я жаловался матери, но она не понимала моего горя. И тогда я до утра считал овец. Пытался спастись на улице, благо ночи были теплые и позволяли это, но меня тут же заедали комары. Спасения не было. И я не высыпался, точнее, совсем не спал. Утром опухший и злой я снова работал в огороде.

Было время, когда отец утомлялся, он дремал в вагончике, и тогда я становился свободным. Я бродил по лесам, по тропинкам и полям, в каждой опушке ища свою загадку. Я не могу объяснить, как сильно меня манил горизонт, когда я смотрел на край леса, мне непременно хотелось туда попасть. Если отец избивал меня, я мечтал о том, как я бегу по этим тропинкам куда-то в летнюю даль, за красным солнцем. Пью воду из луж. Скитаюсь. И нет больше прошлого. Никогда меня он не найдет, никогда не поднимет больше руки. Но потом я думал об уставшей матери, и мне становилось грустно. Я не смогу сбежать из дома, я еще молод.

Я возвращался на нашу плантацию. Осенью мы собирали урожай, и даже я радовался, что у нас больше, чем у соседей, картошки, огурцов, помидоров. Мы ездили за грибами в лес, весной собирали папоротник и березовый сок. Мне даже порой было непонятно, зачем мать и отец ходят на работу, если вся еда в доме появлялась без всяких денег. Да и денег-то не было. Зарплату не платили, ее давали примерно раз в полгода, и то частями, чаще продуктами или каким-то товаром.

Огромным счастьем было приехать домой после дачи, нажарить огромную сковороду картошки с грибами, сделать тазик салата и наестся до отвала. Такое вот странное семейное счастье. Несмотря на постыдность общего страдания, нищеты и злости, мы были семьей, и я

с трепетом и тоской вспоминаю это ощущение единения. Каждого члена семьи я бы хотел с нуля взять себе ребенком и вырастить на своих руках, чтобы они стали добрее, мягче, нежнее друг к другу. Но возможно, тогда они бы не выжили. Время нежных не щадило. Даже старые бабки шли в торговлю, все продавалось и все покупалось, от семечек до детей.

А мы закатывали дома банки с огурцами и патиссонами, заставляли ими полквартиры и радовались, что зимой будем сыты.

Эта дача, этот наш небольшой домик снится мне и по сей день. Одна и та же тоскливая серия снов, будто я бегу на дачу по знакомым тропинкам, ищу свою семью, но нахожу лишь запустение, бурьян, все разрушено и сожжено. Если ты, читатель, кого-то сильно любишь, если у тебя есть близкие люди, представь, что их больше нет, нет дома твоего, нет земли твоей, прошли годы, а ты нуждаешься в них и ты ищешь прошлое, но находишь лишь призраки его. Отголоски. И сходишь с ума от одиночества даже среди новых людей, потому что семью тебе никто не заменит. Понятие семьи лежит в иной плоскости, отличной от дружеского общения, от секса, от женщин. Это то, что мучает ночами, зовет к себе, требует разобраться. Это кармический узел, который ты пытаешься безуспешно распутать. Я бы вернулся туда, я бы отдал все деньги, чтобы накормить нас же самих. Я бы защитил своей грудью нашу семью, отдал бы жизнь за каждого из нас, ведь я уже вырос и стал сильнее во много раз, но я не могу вернуться в прошлое. Я не научился путешествовать во времени, этой силой я не обладаю. И я путешествую по закоулкам своей памяти.

Я боюсь ехать в Хабаровск по той причине, что мое сердце может не выдержать эмоций, и я сойду с ума или покончу с собой, не вынеся тоски. Я бы вернул даже безумного отца – пусть и дальше запирает меня в туалете, пусть бьет, лишь бы вся боль вышла из него, чтобы его опустошенная душа вновь заполнилась бы радостью. Той радостью, что ощущают верующие в храме. Радостью тишины. Но моя душа как сгоревшая церковь – потерявший кров и семью, я страдаю. Нет мне спасения среди людей, среди объятий, я их не принимаю. Я не прячусь в женские руки. Я не ищу спасения в удовольствиях. Я не пью. Дальний Восток и, в частности, моя земля манит меня к себе. Я хочу на могилу к деду, но я боюсь этого. Сильные и такие глубокие эмоции переполняют меня...

На зиму отец арендовал небольшой склад в подземном хранилище. Вместе с ним мы ездили туда грузить мешки с картошкой, банки, консервы. Склад этот находился глубоко под землей, на минус пятом этаже. Снаружи это обычные гаражи, а внутри – целый подземный рой. Тут люди хранили свои вещи. Коридоры темные и гулкие, я слышал капли воды – то таяли сосульки. Температура тут была около нуля градусов. Мы спускались с ним в катакомбы. Если я пропускал нужный поворот, отец то и дело кричал на меня, толкал рукой. Было не по себе. Я был как зомби, управляемый некой силой извне.

Мы находили нашу кандейку, включали голую лампочку и на деревянный настил складывали мешки с картошкой. Таскали их на своем горбу. Помещение было сухое – отец боялся плесени и постоянно чем-то смазывал стены. Зимой же помаленьку забирали еду домой. Это было время достаточно сытое, тяжело было только весной, когда запасы заканчивались. Но до Нового года мы были сыты. Не было только мяса, но иногда мы закупали красную рыбу, которая стоила копейки, складывали ее в бочку, солили и потом отрезали от туши нужное количество. Рядом стояла бочка папоротника, бочка рыбы, бочка яблок. Отец научился делать из ворованных груш брагу и пил ее. От этой браги здорово сносило крышу. Он еле стоял на ногах, ничего не мог выговорить, но при этом утверждал, что мыслит ясно и чисто.

Когда я поднимался с отцом на поверхность, мне казалось, что случился апокалипсис, и вот мы, люди, живущие в подвалах глубоко под землей, выбираемся впервые за много лет поглядеть на небо. Но небо темное, все затянуто тучами. Радиоактивная зима продолжается много лет. С такими фантазиями я залипал у забора, отец силой за шарфик одергивал меня. Ему не нравилась моя задумчивость. Я постоянно его чем-то раздражал. Шагая до дому, я

шаркал ногами и он орал на меня. Я старался идти как робот, вычурно вышагивая ногами вперед, но он орал, что я хожу как дурак. И я не знал, как мне ходить, чтобы не злить его. А все дело было в деньгах, которых не хватало на обувь, и ее надо было бережно хранить. Если шаркаешь часто, обувь стирается. Но чем больше на меня за это кричали, тем с большим безразличием я относился к материальным ценностям. Цена за любовь к ним высока. А за просторы платить не надо.

Зимой на дачу отец нас тоже возил, но это случалось редко. Нужно было следить за домом, убирать поле, расчищать к весне канавы для воды, чтобы землю не залило, и делать еще кучу мелкой работы. Мы разжигали в доме печку-буржуйку, чтобы греться рядом с ней. Холода тут достигали сорока градусов. Там мы с сестрой грели озябшие руки.

Весной ставили теплицы и парники, сажали рассаду, и все начиналось сначала. Бесконечная работа, редкий отдых, купание и странные чувства к нашей даче. Ненависть к труду и радость от природы. Но мы выживали. Другие воровали, спивались, ели падаль. Мать даже пару раз носила продукты в те семьи, где были дети и где родители много пили от горя, не в силах заработать денег. Только отцу она врала, что все съели мы, потому что отец не мог допустить, чтобы мы кормили еще кого-то. В нем жила какая-то деревенская жадность к последнему ржавому гвоздю. Впоследствии он стал захламлять дом ненужными коробками и бутылками, боясь выкинуть каждую деталь. Все эти вещи были ему не нужны. Это был заскок, мелочная жадность старика.

Но мои родители выполнили свое предназначение этой дачей. Они спасли нас от голода. Трех детей и двух бабушек. Успевая ходить на работу, в то же время работая на даче.

Мать принесла домой две пачки черного листового чая, одну банку сгущенки и булку хлеба.

Все это она аккуратно достала из пакета и убрала в кухонный шкаф. Тяжело вздохнула и сказала:

– Это вместо зарплаты.

Булка хлеба, чай, тем более целая банка сгущенки – это почти праздник.

На самом деле, зарплату никто и не ждал. Примерно раз в неделю мать говорила, что вот-вот будут деньги. Первые три месяца мы с сестрами верили ей, потом эта фраза перестала вызывать у них радостное возбуждение.

Мать работала прачкой, отец – в милиции. И каждый раз, приходя с работы, он спрашивал у нее:

– Ну что у тебя?

– Ничего, – отвечала она.

– И у меня ничего.

Они даже не ругались. У них, наверное, не было сил на взаимные упреки. Оба испытывали одинаковое глухое раздражение к собственной слабости.

В тихой грусти они ложились спать и, едва закрыв глаза, засыпали от усталости с единственной мыслью – может быть, завтра повезет, денег не дадут, так подвернется какой кусок. Может, дадут зарплату продуктами, как бывало уже не раз.

Они засыпали, накрывшись пледом, слушая детские разговоры. Мы сидели у телевизора и щебетали как птицы, совсем не о детских делах. Сквозь сон родители узнавали о том, что сегодня ограбили еще две квартиры в их доме. И о том, что грабители наверняка попадутся, они же просто малолетки, которые не сдали часть награбленного на общак. Не только воры, но и милиция такого не прощали.

Дверь открыли отверткой, так как грабили стариков, у которых ещё с советских времен стояли замки-«копейки». «Копейкой» называли железный круг на двери, за которым прятался

замочный механизм. Такие замки вскрывали только малолетки, взрослые не полезут в такую квартиру, там нечего брать. Каждый, кому исполнялось лет по четырнадцать, знал об этом.

Еще родители узнавали о том, что завтра будут показывать мультфильмы, и смотреть их лучше у соседей – там есть цветной телевизор.

Отец не раздражался на мать, но часто срывал зло на нас, как будто подсознательно ругая за бессмысленное существование. Мы – упрек в его слабости, напоминание о том, что нас так тяжело прокормить. Отец ставил нас по углам, и тогда его глухая злость утихала, мы переставали щебетать, становилось тихо и спокойно. Как только он засыпал, мы украдкой подходили к нему, всматриваясь в спящее лицо, от которого исходила немая угроза. Но чаще мы сбегали на улицу и играли, купаясь в осенней листве.

Утром мать аккуратно вскрыла пачку чая, заварила его в фарфоровом чайнике. Потом сняла с батареи мешок с сухарями, положила их на сковородку, залила водой и поджарила. Булку свежего хлеба хотелось оставить на ужин, как и банку сгущенки. Этот небольшой запас согревал ей сердце – сегодня все будет в порядке.

Отец уходил на работу раньше всех. Он не спеша успевал позавтракать, пока жена гладила ему брюки. Телевизор будил меня и сестер, которых ждала школа. Мать собрала нас в школу, накормив размоченными в воде сухарями, и уже обувалась, когда вдруг вспомнила, как неделю назад, стирая чужие наволочки и простыни, прямо в белье нашла десять рублей. Вот бы и сегодня найти что-нибудь!

Только прачкам известно, сколько всего ценного люди порой забывают в своих простынях и наволочках – от вставных зубов и носовых платков до денег и дорогих украшений. Как-то одна из прачек нашла золотые серьги из турецкого золота. Сама не поняв, чего испугалась, она отдала их начальству и потом целый день ревела у стиральной машины, закрыв руками глаза. А бригадир, проходя мимо, злобно прошипела: «Дура!»

Мать часто говорила – у других детей отниму, своих накормлю. Если бы ей достались эти серьги, уж она-то не отнесла бы их начальству!

Целый день на работе она стирала чужое белье. Порошок разъедал ей руки. Огромные стиральные машины громко шумели в цеху. Когда проходил цикл стирки, белье автоматически отжималось центрифугой и отправлялось в гладильный цех. При таком шуме особенно и не поговоришь. Люди, которые изо дня в день работают на такой работе, привыкают к молчанию, лица их становятся угрюмы. Лишь на обеде в раздевалке они перекидывались редкими, часто ничего не значащими фразами, делились едой. Чаще же просто курили вместо обеда, развалившись на деревянных стульях. Те, кто не ел, говорили, что они на диете. Врали, что не голодны или приболели и кусок в горло не лезет.

Женщины, что работали здесь, были в чем-то похожи друг на друга. У всех широкие лица и плотные тела. Почти все имели проблемы с кожей, возможно, даже не подозревая, что виной тому стиральный порошок и прочие химикаты. Редко встретишь миниатюрную, стройную рабочую женщину.

Только уборщица, беззубая мерзкая старуха, походила на высохший скелет. Она сверлила злобным взглядом каждого проходящего мимо человека, за которым ей приходилось мыть пол. Еще она ненавидела курильщиков, которые имели привычку разбрасывать бычки. От этой старухи всегда дурно пахло. В отличие от прачек, она собирала бутылки и сдавала их, и потому находилась в более выгодном финансовом положении, чем они. На вырученные деньги она покупала гидролизный спирт. Еда ее совсем не интересовала.

Многие тоже пили и не стеснялись этого. Они позволяли себе выпивку после работы прямо в раздевалке. Но мать не пила. Возможно, трое детей удерживали ее от этого. Она знала – чем тяжелее работа, тем быстрее спиваешься. Она не раз видела, как это происходит с людьми.

Вон у Екатерины муж пил, как все мужики. Накопив жалкие гроши, семья сдала его в больницу на лечение, но оттуда его вернули обратно с диагнозом – энцефалопатия мозга.

Мозг настолько деградировал, что человек уже даже в трезвом состоянии вел себя как пьяный. Мозга-то и нет уже совсем, а желание выпить еще есть...

Белье подвозили большими телегами прямо с железнодорожного склада. Тощий как прут разнорабочий с лысой головой оставлял всё это у свободной стиральной машины и исчезал в чреве цеха. Мать своими крепкими руками закидывала в голодную пасть машины килограммы старых наволочек и простыней и выставляла таймер. Пока стиралась одна партия, она успевала отвезти другую, уже постиранную, в гладильный цех. Иногда, урвав свободную минутку, она успевала прочесть несколько страниц какойнибудь книги. Эти книги были старыми и засаленными, так как ходили из рук в руки по всему цеху, прежде чем отправиться в туалет.

Если привыкнуть, работа не казалась такой уж сложной. Раздражало только то, что время от времени обжигает горячая вода или паром.

Иногда в цех забегал тощий местный кобель с облезлой шерстью и изгрызенными боками. Своим костлявым видом, своим от природы жалобным взглядом и скулежом он молил женщин об объедках. Его отпихивали ногами в сторону, и он терпел это. Но на улице у самого цеха он сам кидался на проходящих людей, норовя цапнуть их за ногу.

В этот день в обед бригадир сообщила, что грядет сокращение. Всем рабочим нужно подойти в бухгалтерию. Слово «бухгалтерия» вселяло надежду. А вдруг зарплата или хотя бы ее часть?!

Мать недолго блуждала по серым бетонным лабиринтам завода, прежде чем нашла заветную дверь. Окно для выдачи денег было закрыто. Она постучалась в дверь, и та свободно распахнулась. Нестерпимый свет ударил в глаза.

Невольно она поднесла руку к лицу.

Бухгалтер – женщина с сухим лицом, похожим на старую сливу, и мрачным, вечно недовольным выражением, выдала какие-то бумаги и попросила их подписать.

– Там все написано, читайте, – едва слышно произнесла она, увидев измученное вопрошительное выражение матери.

В бумаге говорилось, что деньги теперь будут выплачивать через суд, так как предприятие объявило себя банкротом. Рабочие ставят свои подписи, потом ещё месяц надо ждать решение суда.

Тот, кто был одинок, был свободен и мог бросить все ради нового начала. Но только не она. Ей придётся работать дальше, даже если за кровно заработанные деньги придётся драться в суде. Ради детей – придётся. Ничего, ведь дома есть немного еды. Хлеб, сгущенка – значит, будет еще день завтра.

Вечером она вместе с остальными женщинами возвращалась домой. И тогда она узнала, что муж ее коллеги собирается ехать на незаконную рыбалку. Он знает отличное место. Конечно, мать сразу решила предложить своего мужа ему в компаньоны. В хорошие годы, бывало, за один улов они набирали по несколько пакетов верхоглядов, речных касаток и маленьких сомов. Эту рыбу можно было менять у соседей на крупу, соль, сахар или жарить самим. Надо было только уговорить мужа сразу после работы не заваливаться спать, а поехать на ночную рыбалку. А утром, оставив дома улов, снова отправляться на дежурство.

Осчастливленная этой мыслью, она вернулась домой. Переделалась, умылась – она знала, что у нее есть еще полчаса до возвращения мужа. За это время можно было заварить чай, нарезать хлеб и открыть банку со сгущенкой. Будут сыты и дети, и их отец.

Женщина зашла на кухню, привычным жестом зажгла газ. Потом, нагнувшись, полезла в кухонный шкафчик в поисках продуктов. В полутемном чреве шкафа в свете электрической лампы поблескивали пустые стеклянные банки, но сгущенки и хлеба не было. Немного растерявшись, она полезла в соседний шкаф, но и там ничего не оказалось. Мать обшарила все шкафы и ящики, не нашла припасов и позвала нас.

– Куда вы дели продукты? – грозно посмотрела она нам в глаза.

Мы с недоумением поглядели на свою мать, которая уже начинала сердиться. Потом стали отнекиваться, что не видели в глаза никаких продуктов. Все знали, что в шкафу есть заначка, но никто не знал, что она пропала, и тем более куда. Сначала женщина подумала, что кто-то из нас не выдержал и все съел в одиночестве, ни с кем не поделившись. Но потом пришло недоумение: если дети съели всю сгущенку, это еще понять можно, но куда они дели чай? Не съели же они целую пачку!?

Хорошенько покричав на нас, она увидела, что угрозы ее канули в пустоту. Никто не мог объяснить таинственного исчезновения продуктов. С какой-то смутной и немного глупой надеждой женщина заглянула в мусорное ведро, как заправский детектив. Она мечтала увидеть там пустую банку из-под сгущенки, это многое бы объяснило. Но помойное ведро было пусто. Тогда она открыла стол и достала все ножи, которыми мы могли бы открыть банку. Все они были чистыми, никаких следов.

– Пошли вон отсюда! – крикнула она в отчаянии на нас, и мы испуганно разбежались.

Придет злой и голодный отец, и будем мы сурово наказаны. На этот раз за дело. Мать не станет нас защищать. Она села у окна, закрыла, как раненая птица, голову руками и тихо заплакала, чтобы никто этого не видел и не слышал. На собственный голод ей было плевать. Потом, собравшись с силами, она встала со своего места и с красными, невысохшими глазами принялась размачивать сухари в воде. Что бы ни произошло с продуктами, а мужа надо накормить.

Чуть позже пришел отец, он разулся, снял милицейскую фуражку. На нем осталась форма: пиджак и брюки, опоясанные армейской кожаной португеей с железной пряжкой, которая внушала нам ужас. В ожидании наказания мы совсем притихли, пытаясь сделаться невидимыми. Так замирает природа в ожидании бури, так затихают животные в ожидании грозы.

По его взгляду мать поняла, что на работе ничего не выгорело. Все обстоит так же, как вчера, и лучше его не спрашивать, как дела. Умывшись и вытерев лицо полотенцем, он уселся за стол. Мать поставила перед ним сухари и вчерашний, вторично заваренный чай. Отец недоуменно посмотрел на нее. Как будто прочитав все в ее взгляде, он побагровел и резко поднялся со своего места.

Каждый раз, когда мы должны были быть справедливо наказаны, мать думала, что достанется нам за дело, но каждый раз, как дело доходило до рукоприкладства, сердце ее не выдерживало, и она кидалась прикрывать своих детей. Вот и на этот раз она остановила мужа и с мольбой во взгляде воскликнула:

– Это я съела, я все съела! Они тут ни при чем. Я была так голодна!

Отцу не нужно было ничего объяснять, он грубо оттолкнул мать в сторону и ушел в комнату. Он закрыл ее на кухне, чтобы не мешала. Скрип снимаемой португеи уже стал символом ужаса для нас, вот оно – грозное оружие, способное умертвить душу ребенка. Тело заживет, но душа – нет.

Позже, в школе на собрании, учитель даст совет матери, как надо воспитывать детей.

– Пусть отец иногда даст им ремня!

– Я боюсь, – отвечала она. – Вдруг убьет.

– Своих-то не убьет, – со знанием дела утешал учитель женщину.

Но даже португея не возымела должного эффекта: мы не признались, кто и куда дел продукты. Они исчезли бесследно. От такой досады отец не стал есть сухари, только выпил стакан чая и сразу же уснул, едва сняв с себя форму. Одно было хорошо – он согласился сразу после работы завтра поехать на рыбалку. Значит, будет рыба и будет еда.

До поры историю с пропажей забыли. Все шло своим чередом. Отец действительно привез целый мешок рыбы, он еще долго хвастался перед матушкой, как их остановила милиция и хотела сдать рыбнадзору, и какое магическое действие произвела его ксива. Этот документ

обладал той же славой и таким же романтическим ореолом, что и медный щит или меч великого мастера, сделанный специально для какого-нибудь крестоносца. А милицейская девятка была сродни черному коню в попоне.

Часть рыбы они поменяли у соседей на мешок груш, которые те украли в колхозном саду. Более половины груш просто сложили в китайскую пластмассовую бочку. В крышке прожгли дырку, чтобы выходили газы, образующиеся при брожении, залили фрукты водой, кинули дрожжи и спрятали бочку на балконе. Через семь дней получилась отличная грушовка.

Во дворе жило еще двое детей, про которых мать, вздыхая, говорила: «Нищие!» От этих слов ей самой становилось легче. Это они нищие – а мы нормальные. Однажды, тайком от всех, мать отсыпала пакет гречневой крупы и принесла его им. Этой жертвой она нарушала принцип, в котором постоянно себя убеждала – «у других отниму, своих детей накормлю». Она часто так делала – но никто не мог ее поймать за этим занятием. Этим чужих детей было двое, они целыми днями играли на улице. Мальчик и девочка, оба загорелые и оба тощие, как скелеты, их мамаша меняла мужей и постоянно напивалась. Однако ради детей продолжала работать дворником.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.